



«ГОЛОС
ЖИЗНИ
МОЕЙ...»

Памяти
Евгения Дубнова

Лея Гринберг-Дубнова
«Голос жизни моей...»
Памяти Евгения Дубнова.
Статьи о творчестве Е.
Дубнова. Воспоминания
друзей. Проза и поэзия
Серия «Русское зарубежье.
Коллекция поэзии и прозы»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66287278

«Голос жизни моей...» Памяти Евгения Дубнова. Статьи о творчестве

Е. Дубнова. Воспоминания друзей. Проза и поэзия: Алетейя; Санкт-

Петербург; 2021

ISBN 978-5-00165-361-5

Аннотация

Творчество Евгения Дубнова (1949-2019) – крупного поэта, прозаика, талантливого переводчика – мало известно русскоязычному читателю. И это неудивительно: все четыре сборника его стихов были изданы в Британии, два последних – с параллельным переводом на английский.!

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Лея Гринберг-Дубнова. Предисловие	8
Статьи о творчестве Евгения Дубнова	27
Лия Владимирова. «И все немоты речью утолил...»[1]	27
Владимир Френкель. На пути домой	38
Лея Гринберг-Дубнова. «Друг мой далекий, вспомни обо мне...»[2]	56
Конец ознакомительного фрагмента.	67

**«Голос жизни моей...»
Памяти Евгения Дубнова.
Статьи о творчестве Е.
Дубнова. Воспоминания
друзей. Проза и поэзия**

© Л. Гринберг-Дубнова, составление, 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

* * *



Евгений Дубнов (1949-2019). Лондон, 1982 г.

Лея Гринберг- Дубнова. Предисловие

Там среди зелени цветок один алеет,
И в этом есть символика своя.
Нельзя ли задержаться на земле мне,
Пока ее не разгадаю я?

Не смерть, но вечность пусть легко коснется
Всех дней моих и всех моих трудов,
И голос мой пусть навсегда проснется
Среди живущих сел и городов.

Как родились эти строки? Каким был исходный импульс? Быть может, взволнованный красотой природы, он вдруг почувствовал, что страх расставания с этим миром коснулся его души?

Он работал над стихами о возвращении в детство. И названия стихов или циклов раскрывают его замысел: «Сакральная уголок», «Волшебный город», «По дорогам вдоль рек»...

Читаю стихи, и кажется мне: вместе с ним, моим братом, поэтом Евгением Дубновым прохожу этот путь к дому, нашему дому.

Земли известное пространство
Хранит сакральный уголок,
Что огражден и залит светом
И переполнен звуковой
Игрой и болью, – это дом твой,
Родной язык, там всплеск воды
И птичьи вскрики...

И возвращается что-то навсегда ушедшее, живущее лишь в памяти: дом, море, которое было так близко, лес с его вечно молодой зеленью. И те, которых уже нет со мной, но кто навсегда остался в моей душе.

А дом пустой как будто полон.
Ты чувствуешь присутствие всех тех,
Кто навсегда отсутствует...

И он, мой брат, – с ними. Так недостижимо далеко, но порою совсем близко. Его стихи, словно листья, сорванные осенним ветром, кружат вокруг меня. Я возвращаюсь к ним снова и снова. И в эти мгновения живу его мыслями и чувствами.

Перебираю записные книжки. Торопливые, наскაკивающие друг на друга буквы. Боязнь упустить мгновенье: «Сложность и трудность жизни в том, что при всей внешней похожести ни одна ситуация, ни одни отношения, ни один

человек не похожи друг на друга, поэтому каждый раз нужно думать заново». И я догадываюсь, что по следам этих мыслей родилось стихотворение:

Послушайте, я вам хочу сказать,
Что жизнь дается много раз и с каждым
Ее дареньем надо выбирать,
Как дальше быть. Часть бытия, однажды

Себя узнал я, проходя в саду
Осеннем мимо яблонь, освещенных
Фонарным светом, – был я на виду
У всей вселенной перевоплощенной.

Октябрь 1983

Уже скоро два года, как я живу в мире его души. Прохожу с ним путь от детства, юности, зрелости и до последних дней внезапно оборвавшейся жизни. И как ее завершающий аккорд звучат для меня строки, написанные за месяц до его ухода:

Я спорил с тенью слов и с отраженьем
Своим в реке, когда ее вода
Была прозрачна, спорил с пораженьем
Всего живого, ныне и тогда,
Когда ушли родители. На деле
Моя аргументация была
Безрезультатна, но как птичьи трели,

Как поворот летящего крыла,
Я делал то, ради чего родился...

8 июля 2019

Он открывается мне в своих письмах, размышлениях, стихах и прозе. Был в нашей жизни период, когда она на много лет разлучила нас. Формирование его личности проходило вдали от меня: вначале нас разделяли только города, потом – страны. Он был студентом Московского университета им. М.В. Ломоносова, я жила и работала в Риге. В 1971 году он с матерью репатриировался в Израиль, а моя семья еще восемь долгих лет ждала разрешения на выезд.

В этот период брат после окончания Бар-Иланского университета по специальности психология и английская литература работал в Лондоне над диссертацией по сравнительному литературоведению, лишь время от времени наезжая в Израиль. Он свободно владел английским, преподавал английскую и американскую литературу в Лондонском университете, был членом панели преподавателей литературы этого университета. Писал стихи и прозу на английском и русском языках.

Наступил момент, когда мы оба оказались в Иерусалиме. Но и тогда каждый из нас жил в своем мире. Мы были людьми творчества. Каждый дорожил своим временем. Встречались, делились написанным. Его замечания были всегда деликатны и точны. Помню, как он фотографировал

меня для моей книги, готовившейся к выходу в свет, радовался удачной фотографии. Его новую книгу стихов, опубликованную в Англии на двух языках (он переводил ее совместно с англо-американской поэтессой Энн Стивенсон), я получила с трогательной надписью: «С любовью и благодарностью от брата».

И все же сейчас многое в нем открылось мне по-новому. Порой казалось, что я по-настоящему приблизилась к нему, лишь разбирая его архив, все эти бережно сохраненные письма, стихи, иногда просто наброски, юношеские рассказы, написанные в годы московского студенчества. Все то, что по времени было так далеко от меня, вдруг словно приблизилось.

Папки, папки, папки... Во всем, что я нахожу в них, впечатление его присутствия, биение его сердца. Как будто он только отложил ручку, задумался и вот-вот вернется к написанному. И вместе с этим рождается грустное ощущение сиротства, какое бывает в доме, оставшемся вдруг без хозяина. Он был полон творческих планов, работал над прозой и поэзией, одновременно на русском и английском языках. За пару недель до смерти отослал в Лондон литературному агенту роман, написанный им на английском, «It Alters All Appearances» («Это все меняет»), об участии которого я безуспешно пытаюсь узнать. Неопубликованной осталась и вторая часть его мемуаров, продолжение книги «Never Out of Reach» («На расстоянии вытянутой руки»), вышедшей

в 2015 году на английском в Клемсонском университете в США и Ливерпульском университете в Англии. Много новых стихов на двух языках.

Но особенно тяжело мне видеть неизданную антологию русской поэзии. Вспоминаю, какая боль читалась в его глазах, когда он говорил о работе над ней, о том, сколько душевных сил вложил в переводы русских поэтов на английский язык. Он переводил их совместно с Джоном Хит-Стаббсом (John Heath-Stubbs), лауреатом Королевской золотой медали в области поэзии за 1974 год, и другими английскими поэтами. Тянущийся длинным столбиком список поэтов от Ломоносова до Набокова. И о каждом из них – подготовленное им вступление на английском. В автобиографии он пишет, что занимался переводами для антологии и ее подготовкой к изданию на протяжении более чем двадцати лет, между 1985 и 2006 годами.

В его архиве я нашла копию письма о судьбе антологии, адресованного, по-видимому, близкому человеку.

«Дорогой Дмитрий Михайлович!

В первую очередь – благодарность за совет: заинтересовался я им и посылаю ксерокопии.

Я тем временем покопался и набрел еще на переписку с Зинаидой Шаховской и несколькими ныне покойными английскими поэтами, общение и переписка с которыми были тогда частью повседневности, а для меня еще и мальчишеским энтузиазмом, с которым я открывал возможность твор-

чества в другом языке. Сейчас это архив.

Я все пытаюсь найти издателя для антологии русской поэзии и отдельных томов Пастернака, Мандельштама, Хлебникова и Крылова, которые мы с недавно скончавшимся Джоном Хит-Стаббсом, королевским золотым медалистом и лауреатом поэзии Британии перевели, в большинстве случаев сохраняя просодию оригинала.

Его агенты искали несколько лет, но британские издательства не заинтересовались. Я сам обращался к целому ряду американских – с тем же результатом.

Мода очень жестоко «политкорректна»: все, в чем есть размер и рифма, старомодно. От этого бегут, как черт от креста.

Огульно отказываться от рифмы, да еще вместе с метрической структурой, – это ведь самоубийство, не правда ли?

Желаю Вам всего наилучшего в Новом году, в первую очередь здоровья. Ваш».

Первые свои переводы он сделал еще в школьные годы. В его стихах есть упоминания национального эстонского эпоса «Калевипоэг», но, когда семья из Таллина переехала в Ригу, Евгений переводил стихи латышского народного поэта Яниса Райниса. Среди его первых переводов были Р.М. Рильке, П. Валери, Ф.Г. Лорка...

В одном из ранних рассказов Е. Дубнов вспоминает эстонского мальчика, своего друга, который помогал ему «отра-

батывать» произношение, учил точному выражению мысли на эстонском языке. Работая над переводом, он всегда стремился проникнуть в фонетику чужого языка, понять его основу. И все же особое место в его творчестве занял английский язык. По-видимому, он не раз и сам задумывался над этим и в одном из интервью объяснил это так:

«Я стал писать стихи на английском, когда понял, что многие эмоции и мысли мне по-русски не выразить. Но и от русского я не отказался – по той же причине – не все можно сказать и выразить по-английски. Причины тут и эмоциональные, и лингвистические, и фонетические...»

Когда-то два известных израильских поэта Авраам Шлёнский и Эзра Зусман убеждали его, что он может стать ивритским поэтом, ссылаясь на собственный путь в ивритскую литературу. Он выбрал другую дорогу, но очень гордился своим переводом с иврита на русский стихов израильского национального поэта Ури Цви Гринберга, почувствовав красоту и величие его поэзии.

На тыльной стороне обложки книги «За пределами», профессор Лондонского университета Дональд Рейффилд, среди прочего, пишет:

«Я впервые прочитал его стихи тридцать лет тому назад и был поражен, что такой большой талант занимается исследованием другого таланта».

Диссертация, посвященная сравнительному анализу творчества двух крупнейших поэтов XX века, – Осипа Мандель-

штама и американо-британского Томаса Стернза Элиота – осталась незащищенной. И когда я думаю об этом, понимаю, насколько сильна была его тяга к поэзии, насколько он жил ею.

...как птичьи трели,
Как поворот летящего крыла,
Я делал то, ради чего родился...

Он был поэтом. И чувствовал, что это его земное предназначение. Первые свои стихи написал в шесть лет, но однажды, перечитав их, порвал без сожаления. И вновь вернулся к стихам десять лет спустя. Одно из ранних стихотворений я хорошо помню.

Голубя ударило машиной.
Не взлети он – мог бы уцелеть.
Было непростительной ошибкой
Потерять доверие к земле...

<...>

Вот ты и взлетела к небу, птица,
Кровью искупая слепоту.
Жизнь твоя пускай тебе простится –
Ты погибла все же на лету.

Он включил стихотворение в свою первую книгу «Ры-

жие монеты», вышедшую в Лондоне в 1978 году и сразу обратившую на себя внимание. Наиболее значительным был отклик специалиста по русской литературе профессора Дональда Рейффилда, отметившего самобытный талант автора, продолжающего традиции Осипа Мандельштама.

Память... Она живет в тебе и хранит так много в своих собственных архивах, но порой нужно совсем немного, чтобы оживить ушедшие мгновения... Напомнить.

Старая газетная публикация, посвященная встрече Е. Дубнова с читателями в Израиле. Ловлю себя на том, как мне дорого каждое воспоминание о нем, как дорогá каждая о нем строчка. Это его прошлое, короткий отрезок жизни. Говоря о его необыкновенной манере чтения, автор статьи цитирует критика газеты «Франкфуртер альгемайне цайтунг»:

«...виртуозная работа полости рта и всего речевого аппарата, большой диапазон звука и резонанс тела. Совершенно блестящее выступление».

Может быть, это и было то самое выступление на Международном фестивале музыки и театра футуризма, куда его пригласили читать стихи русских поэтов-футуристов Маяковского и Хлебникова, о котором он мне рассказывал, когда я, журналист радиостанции «Кол Израэль» («Голос Израиля»), готовила с ним свое интервью.

И я вдруг вспоминаю, как он читал свое стихотворение «Царь Давид». Сколько было в его чтении эмоциональной силы... Казалось, что он видит царя Давида, страдающего

от своего бессилия рядом с той, чья молодость должна была пробудить в нем силу желания. Прошлое возвращалось к нему. И в нем он был по-прежнему молод и полон сил. И, может быть, от этого становилось еще большее.

Всю свою жизнь – тому Творец свидетель! –
Он мужем был до мякоти костей
Всегда и всюду – на любовном ложе,
На поле брани, или же когда
У камня Азель он следил стрелу
И вслушивался в речь Ионатана...
О мужестве его неслась молва
Быстрее, чем меч вершит свой взмах во имя
Большого Бога...

«Царь Давид» – одно из ранних стихотворений Евгения Дубнова, написанное вскоре после репатриации в Израиль. И возвращаясь к нему, я каждый раз заново поражаюсь, откуда в молодом человеке, еще не успевшем познать жизнь, была эта глубина, это понимание страдания мятущейся души стареющего Давида, способность с такой художественной силой воссоздать его образ. Стихотворение вошло в первый сборник «Рыжие монеты», вышедший в Англии в 1978 году и получивший высокую оценку английских литераторов, владеющих русским языком. Брат включил в него немало стихов, написанных в годы студенчества в Московском университете, куда он, еврейский мальчик, был послан учиться

как представитель Латвии.

В том же интервью он говорит:

«Искусство – это борьба человека со смертью, попытка отстоять себя перед ее лицом. Так я подходил к проблеме своего творчества на протяжении многих лет. И лишь после того, как я начал копаться в первоисточниках, заниматься Библией, комментариями к ней, Талмудом, еврейской философией, почувствовал внутреннее освобождение: страх перед смертью стал постепенно пропадать».

Но мысли о жизни и смерти не ушли из его творчества. Это «подводное течение» чувствуется постоянно. Словно за увиденным открывается ему нечто глубоко сокрытое. Словно он все время в раздумье о таинстве жизни: «Нам судьбы не дано объясненье...» В нем всегда была сильна память. И потому он так часто возвращается в детство. Вот строки, посвященные отцу, который подарил нам всем любовь к музыке.

И ты, мой отец, перешедший
Во враждебное пространство, что
Бесцветно и безголосо, ты
Возникаешь передо мной
На зеленом горизонте детства,
Полного звуков и запахов,
Чтоб занять свое место,
Свою точку на карте,
До сих пор светящуюся музыкой.

Его стихи – как рвущаяся из сердца музыка. В них все краски природы, ее задумчивая тишина, ее восходы и закаты. В них неутоленная жажда поэта проникнуть к истоку, понять всю глубину сокрытого и выразить словом. В них два пространства – жизни и смерти – идут параллельно.

Мой взгляд вновь задержался на четверостишии.

Вспоминать, как медленно домой
По уснувшим улицам идешь
С телеграфа смерти, и пустой
Город гулок...

Таллин был тих и пуст, и лишь мы с ним вдвоем шли по спящему городу с телеграфа, принесшего весть о смерти старшего брата. И я держала в своей руке его худенькую руку. Он был самый младший в семье. Мы называли его уменьшительно-ласкательно Золик – от его еврейского имени Залман, в память об отце нашей матери, умершем в годы эвакуации.

Для нас он так навсегда и остался Золик...

Потеря брата пробудила в нем много беспокойных вопросов о жизни и смерти, оставила в душе неутихающую боль. Свой второй сборник стихов он посвятил его памяти. И назвал «Небом и землею». В нем выстраданные им строки:

В полумраке света и теней

И зеркал обманчивых природы
Жизнь и смерть увидеть так посмей,
Чтоб земля открылась небосводу.

Шесть лет, прошедших после выхода «Рыжих монет», были годами его творческого взлета. Он много путешествует, выступает на международном фестивале поэзии и музыки в Лондоне, поэзии, театра и музыки в Кёльне, современной музыки в Зальцбурге. Рождаются стихи. Вернувшись из Парижа, он буквально за месяц написал «Парижский путеводитель» – цикл из сорока стихотворений.

О Париж, ты кому-то о чем-то напомнил бульваром твоим,
Блеском крыш, растеканьем палитры огней по ночным мостовым.
Под дождем кто-то быстро шагает куда-то, будя тротуар.
«Подождем», – кто-то скажет кому-то и сердца услышит удар.

Он умеет видеть и передавать детали, но это Париж Евгения Дубнова, и его лирические наблюдения глубоки, как всё, что он пишет:

Смотри, как свечка оплывает, облака
Как белые плывут по темно-голубому
Ночному небу, вслушивайся в стук
Неровный сердца музыки – друг мой,

Друг мой далекий, вспомни обо мне,
Когда меня не будет...

Годы, прошедшие после выхода «Рыжих монет», принесли ему известность. Его стихи публикуются в «Гранях», «Континенте», «Новом русском слове», «Русской мысли»... Стихи в переводе на английский и написанные по-английски – в самых престижных английских, американских, канадских журналах, рассказы, литературоведческие статьи, стихи звучат по «Би-би-си», «Кол Израэль», западногерманскому радио...

На его вторую книгу отозвались литературоведы, уже знакомые с его первым сборником стихов. Профессор Бристольского университета Генри Гиффорд написал: «Я восхищен сборником, стихи в котором, как мне кажется, непрерывно растут по глубине и силе. Хотя и самые ранние произведения представляют собой достижение для 17-18-летнего юноши... Особенно интересует меня Ваше обращение с языком – то, как Вы учились у таких поэтов, как Пастернак, Мандельштам и, быть может, Бродский, но говорите своим собственным, ни на кого не похожим голосом».

Признанный авторитет в области русской поэзии XX века профессор Джеральд Смит отозвался о Е. Дубнове как «о значительном поэте третьей эмиграции».

В 2013 году ноттингемское издательство Shoestring Press выпускает его третью книгу – «Тысячелетние минуты». На

этот раз стихи с параллельным английским переводом. Ее английское название «The Thousand-Year Minutes». Над переводом он работал совместно с известной англо-американской поэтессой Энн Стивенсон. Над последней, четвертой книгой, – «За пределами» («Beyond the Boundaries») – они вновь работают вместе. Книга увидела свет в 2017 году, тоже в издательстве Shoestring Press.

Когда брата не стало, я написала ей об этом. И тут же получила от нее письмо, в котором она с теплом вспоминает об их совместной работе. И о том, как это начиналось:

«Он предложил мне помочь ему, уже успев поработать с рядом английских поэтов, среди них очень известные: John Heath-Stubbs, Peter Porter и Carol Rumens. Когда я попыталась объяснить ему, что мое полное незнание русского языка помешает нашему сотрудничеству, Евгений отмахнулся от моих возражений, напомнив, что Heath-Stubbs и Peter Porter тоже не владеют русским, но это не умерило их энтузиазма, – они просто использовали подготовленные им подстрочники. И я согласилась».

И заканчивает письмо цитатой из своего предисловия:

«В предисловии к его последней книге я написала:

«Для людей верующих, творческих и вообще всех, тонко чувствующих природу, захватывающие религиозные искания в этих стихах свидетельствуют, что Евгению Дубнову принадлежит достойное место в русле возвышенной традиции, возвещенной такими поэтами как Данте Алигьери, Уи-

льям Блейк, Джордж Герберт, Дж. М. Хопкинс и Уильям Б. Йейтс. <...> Его стихи – это фиксация человеческим и мужественным художником того, что Д.Г. Лоуренс называл „проникновением“».

В этот период брат уже вернулся в Израиль. Но связь с Англией не прекращалась. И последние его книги тоже были опубликованы в британских издательствах.

Он любил Англию и, живя в Израиле, тосковал по ней. С Англией его связывали и любовь к языку, и друзья, и воспоминания о прожитых там годах жизни. Связь с ней не прерывалась. И хотя он получил английское гражданство, его домом был и оставался Израиль. Он любил Иерусалим и не раз возвращался к нему в своих стихах. В одном, совсем раннем, он написал:

Я без конца возвращаюсь к тебе, пилигрим,
Нижнюю кромку одежды твоей теребя,
Ерусалим, я бы мог умереть за тебя.

В любой жизни непросто найти путеводную нить. И особенно, когда нет того, о ком ты пишешь. И потому так дорога была мне поддержка тех, кого объединяло со мной чувство потери, желание оставить память о моем брате, прежде всего, – Елены Лейбзон-Дубновой, моей младшей сестры. Мы были с ней едины в том, чтобы подготовить и издать книгу, вобравшую в себя его творчество. Я бесконечно благодарна

за помощь поэту Юрию Колкеру. Нас разделяли страны, но мне казалось, что он со мной рядом. Благодаря ему имя Е. Дубнова появилось в Википедии на русском и английском языках. Ни один мой вопрос к нему не остался без ответа. Оглядываясь назад, возвращаясь к началу работы над книгой, понимаю, как много значило для меня неравнодушие моих друзей, их участие в процессе создания книги. Надежда Кушелевич, Изабелла Победина, Элеонора Шифрина – каждый из них внес свою лепту в то, чтобы творчество Е. Дубнова обрело вторую жизнь.

У истоков книги стоит не только автор, но и тот, кто готовит ее к выходу в свет. Моей большой удачей была совместная работа с Юрием Вайсом, издателем и редактором многих книг, глубоко чувствующим и прозу, и поэзию. Мне было дорого его отношение к стихам брата. Я нашла в нем единомышленника.

...Эта книга рождалась с автором и без автора. С моим братом и без него. Я рассталась с ним 5 августа 2019 года, но порой у меня возникает странное, почти мистическое чувство, что он мне помогает, что он со мной. И вот я вновь расстаюсь с ним. Уже нет той боли, которая долго меня не оставляла, – работа над книгой принесла душе облегчение.

Он ушел. Мы все уходим, но он оставил себя в том, что написал...

И я вновь возвращаюсь к его стихам:

Не смерть, но вечность пусть легко коснется
Всех дней моих и всех моих трудов,
И голос мой пусть навсегда проснется
Среди живущих сел и городов.

Иерусалим, май 2021

Статьи о творчестве Евгения Дубнова

Лия Владимировна. «И все немоты речью утолил...»¹

Передо мной – книга стихов Евгения Дубнова «Небом и землею», изданная в Лондоне в 1984 году. Емкое и точное название этого сборника (второй книги автора) неустанно направляет читательское внимание не только на его содержание, но и на назначение творческого слова вообще.

Вероятно, слово сильнее всего работает, оказывает и эмоциональное и смысловое воздействие на читателя, когда в строке, в строфе, в стихотворении высокие озарения духа соседствуют с «низкой прозой». «Небесное» должно сочетаться с «земным», отталкиваться, контрастировать, взаимодействовать – в таком случае мы избегаем эфемерности, бесплотности или, напротив, излишней «забытовленности», вдавненности в повседневность, в ее житейские, бытовые черты и приметы. При столкновении «небесного» с «земным» высекается, мне кажется, наиболее яркая творческая

¹ Статья была опубликована в нью-йоркском «Новом журнале», 1991, выпуск № 183.

искра. Стихотворение, обретая крылья, при этом не лишается вещности, осязаемости, «тяжести материала».

Первый раздел книги – «Под шатром синевы». Так же названо и первое стихотворение, открывающее книгу. «Земной» ряд свойств и примет в нем предельно прост: внутренняя жизнь стиха идет

меж лугов
меж лесов и полей и лугов
не спеша
под мостами
под шатром синевы

и поэтическая ткань скромна, на ней нет замысловатых узоров. Поэтому «целомудренный трепет травы» (курсив мой – Л. В.) как раз тот эпитет, который, контрастируя со сдержанно-простыми приметами природы (просто «леса», «поля», «луга», «листва»), вообще лишенными эпитетов, является именно тем мазком, который усиливает выразительность всей картины и, не примешивая красоты, вносит красоту. Но главное все-таки не это. Главное – то, что стоит за словами (самыми точно найденными!). Главное – то, что можно было бы – назвать душой стихотворения, его сокровенным смыслом.

Удержать
колебанье листвы

...

избежать

приближенья коней

– то есть удержать хрупкую тишину природы, не спугнуть ее, не нарушить,

разрешая упасть

светлым волнам волос

Удержать во что бы то ни стало и «колебанье листвы», и «светлые волны волос», сохранить это заповедное биение тихой жизни, защитить его.

Мое осмысление этого стихотворения – вольное и субъективное. Но ведь иначе и не бывает. Читатель – каждый читатель! – воспринимает стихотворение так, как это присуще именно ему, и отрадно, конечно, если это к тому же совпадет с авторским замыслом. Но даже если и не совпадет, то все равно стихотворение, законченное, запечатленное на бумаге, уже принадлежит читателю в не меньшей степени, чем своему творцу, и читатель вправе «прочитывать» его согласно своему внутреннему чувству, своему восприятию.

Тот же самый контраст высокого и будничного, примет «земных» и «небесных», то же чуткое всматриванье, вслушивание в природу явлений и в глубь самого себя присуще почти всем стихотворениям книги Евгения Дубнова. Вот, например, морозный московский трамвай, и поэт (или его

лирический герой) смотрит в окна, «причудливо прочитанные льдом». Появляется чувство сопереживания. Тебе кажется, что и ты – в этом трамвае, в этой зимней ночной тишине. Ты смотришь в морозное окно, и тебе тоже хочется признаться:

Как я люблю, Москва, в твоих трамваях
Незанятое место у окна.

Сравнения и метафоры в стихах Евгения Дубнова радуют глаз свежестью и точностью:

бесснежный декабрь,
как разреженный воздух в горах,
обижает дыханье...

Или: «Небо твое разломилось, как хлеб, на двоих» (в стихотворении об Иерусалиме). Или:

Ветер с островов и дрожь листа
На изогнутом, как радуга, стебле.

Таких примеров в книге не мало.

Второй раздел книги так и назван: «Небом и землею». Здесь контраст и неизбежность переплетений, столкновений, взаимодействия «небесного» с «земным» выражены до

предела четко:

Потемнеет тьма,
Ты сойдешь с ума,
Небеса и Бог,
Шапка и сапог.

Почернеет смех,
Покраснеет сон,
На границах всех
Колокольный звон.

Первые 12 стихотворений этого раздела объединены в цикл, в котором часто (хотя и выражается это разными, а не монотонно одинаковыми поэтическими средствами) присутствует борение с собой, со своей болью, настойчивое стремление – пусть напряжением всех сил – подняться над ней, осилить ее, преодолеть:

И тогда, слепя,
Свет и тень лепя,
Вся собой сама
Разорвется тьма.

И настанет духовное освобождение. Пусть – не навсегда. Пусть – лишь на время. Потому что труден путь «небесного» в человеческой душе, требуется огромное напряжение сил в борении с «земным», в противостоянии ему. Но – таков па-

радокс! – «земное» не только не препона для свободного полета духа, оно – необходимое основание, без которого, вне которого дух витал бы в пустоте. Третий раздел книги называется «Часть земли».

Видишь, я стою на перекрестке,
И в моей ладони часть земли –
Праха незначительная горстка,
Что ростки корнями оплели.

Поклонившись на четыре ветра,
Я над следом лет не ворожу,
А смиренно знака и совета
У простора вечного прошу.

Ты ответь, пространство, подскажи мне,
Здесь, где сердце сотрясает грудь,

На распутье этой смертной жизни
Как я угадаю правый путь?

Я сюда пришел не налегке –
Часть живой земли в моей руке.

Надо ли объяснять эти стихи? Надо ли вообще объяснять стихи? Надо ли «с ученым видом знатока» утверждать, что в такой-то строке, строфе, стихотворении поэт выразил такую-то мысль, такое-то чувство? Вероятно, нет. Можно

лишь делиться тем, какие именно мысли и чувства стихотворение вызывает у тебя. У читателя. Ведь стихи всегда говорят своим языком, их трудно переложить на язык «все объясняющей», якобы все знающей прозы, они обращены не только к сознанию читателя, но и к его интуиции. А кроме того – об этом уже была речь – читательское восприятие всегда субъективно. И слава Богу, что это так. И все-таки... все-таки поэт, несомненно, хочет, чтобы его поняли. Ему не нужна отстраненность, отчужденность читателя от внутреннего, глубинного смысла стиха. Поэт хочет читательского сопереживания.

Жизнь легко идет, легко обходит
Все пределы вечные свои,
Пальцем отражения обводит,
Задержавшись, иногда стоит

В детском изголовье, в изголовье
Жизнь порой стоит у старика,
И опять легко идет и ловит
Над рекой рукою облака.

Кажется, нельзя не понять, не почувствовать, о чем думал, что хотел выразить автор в этих строках. В самом деле: как можем мы не любить «земное» – земные «отражения», детские и стариковские изголовья, земные «вечные пределы»? Тем более, что «земное» порой так притягательно, так неот-

рывно близко, так дорого! Чем? Очень многим... В одном из сонетов Евгения Дубнова оно притягивает к себе и криком оленя, и «рябиной детства», и «гроздью волчьих ягод», и птицами, которых пригоняет морской ветер:

Приносит мокрый ветер с моря птиц,
Пространства временного не боясь, –
Крикливых чаек, цапель и синиц –

И жалуется аноним, что связь
Теряет с Богом, что опять, молясь,
Он видит сонм прекрасных женских лиц.

Как же быть? Однозначного ответа нет: подлинная поэзия никогда не дает «правильных» ответов. Там, где живет поэзия, нет места резонерству.

Мастерское владение словесной формой для Евгения Дубнова отнюдь не самоцель. Непрестанно ощущается его потребность чувствовать и мыслить. Красота ради красоты – не пронзенная ни чувством, ни мыслью – не прельщает поэта. В его владениях – любовь и боль, и страх, и чувство одиночества, и ощущение быстротекущего ускользающего времени, и пристальное внимание к большим и малым приметам земли. И, разумеется, постоянное осмысление. На земле – проблески неба. А там, в небе, – вечное тяготение земли. Да, далеко не случайно это название: «Небом и землею».

Безусловная искренность, доверие к читателю, уверен-

ность в его чуткости, в его способности быть сотворцом не покидают поэта на протяжении всей книги, и именно поэтому Евгений Дубнов делится с читателем своими самыми сокровенными раздумьями: о времени – о вечности и о мгновении – о любви, о жизни и о смерти, об испытаниях, выпадающих на долю человеческой плоти, человеческой души и рвущегося за пределы всего земного духа.

И не зная, что готовлю тело
К испытаньям духа, я мечтал,
Чтобы жизнь бессмертием запела
В леденящей стуже – и настал

Срок, когда открылся вдоху рот:
Все произошло наоборот.

Но и этих выстраданных раздумий поэту недостаточно. Евгений Дубнов, преодолевая изначальную немоту, всегда обступающую художника в виде как попало нагроможденных груд косного материала, страстно хочет победить хаос, не желающий преобразовываться в гармонию, осилить чувством, мыслью, мастерством. И ему это удается. Ценой труда, ценой напряженного поиска точных образов и единственных, незаменимых слов:

Напрягаются губы,
Чтоб цедился не вдруг,

По-рабочему скупю
Заработанный звук.

Раскрываются очи
До исчезнувших век –
Надо зреньем рабочим
Зарабатывать век.

Но велика и награда:

И все немоты речью утолил,
И мертвый камень жизнью наделил.

Но – не навсегда. Только до следующего стихотворения. А там – все повторится: поэтический труд (незаметный читателю) и надежда, которая и движет пером, будит чувство и мысль. Надежда, что удастся опять «немоты утолить речью», «мертвый камень наделить жизнью». Или взмыть –

От мельчайшей песчинки
До космических бурь,
От безликой личинки
До захода в лазурь.

Горькое чувство слишком быстро летящего времени, чувство подступающей вечности (оно, вероятно, вообще неотрывно от поэзии) не покидает художника. Но, наверное, именно поэтому так дорог каждый земной миг:

Несется колесница лет, и срок
Приходит телу, и уже песок
Огромной вечности пред нами – и
Поэтому так сладко соловьи
Поют в садах любви.
Блажен же тот,
Кто время понимает и ведет
На жизнь и смерть и на бессмертье счет –
Кто листьев наблюдает перелет.

И продолжается бой с немотствующим дисгармоничным миром, хаосом, наползающим на человека везде, всегда – в том числе и при работе над словом. Побеждать его, организовывать в гармонию – вот что стремится делать поэт. Всеми силами и всеми средствами. «Земным» и «небесным». Небом и землею.

Владимир Френкель. На пути домой

Слово о поэзии Евгения Дубнова

Евгений Дубнов (1949-2019) при жизни издал четыре поэтических сборника, все – в Англии. Настоящее издание является собранием большинства стихотворений и поэм ушедшего от нас автора. Поэтому и предлагаемое слово о поэте должно являться осмыслением поэтического пути Евгения Дубнова, и я хотел бы начать это слово с основного впечатления, главной мысли, которая возникает при чтении его стихов. Эта мысль – путь домой.

Евгений Дубнов родился в Таллине, жил в Риге, учился в Московском университете. В 1971 году уехал в Израиль, учился в Бар-Иланском университете, затем, с 1975-го, – в Лондонском. Прожил в Англии полтора десятка лет, вел научную работу в области европейской поэзии XX века в Лондонском университете, там же преподавал английскую и американскую литературу, возвращался в Израиль, преподавал в Бар-Иланском университете, затем снова возвращался в Англию, и снова – в Израиль.

Надо добавить, и мы не раз это упомянем в ходе данного очерка, что английский язык стал для поэта вторым родным, и при этом он не забывал звуков языка ни родной Эстонии, ни Латвии. Но, конечно, русский язык – основа его поэзии.

И поэт сознавал, как и положено настоящему поэту,

Представим звуки, прежде чем услышим,
Обдумаем сонорность их и стык
Их в какофонии. Направим лыжи,
Коньки наточим и уйдем в язык.

Так поэт писал в конце жизни. Путешествие в язык – признак настоящего поэта, особенно когда прошлое остается только в памяти.

Я это пишу не для того, чтобы проиллюстрировать тему «пути» в его поэзии. Я вообще скептически отношусь к методу изучения поэзии при помощи анализа биографии поэта. Настоящая поэзия – это мир, созданный поэтом, а не буквальное отображение его жизни. Но как сказать, нет ли обратной связи: тяга к перемене мест, заложенная в поэтическом видении мира, может и в жизни диктовать поэту страсть перемещения, перемены. Это не утверждение, всего лишь предположение.

Как бы то ни было, но уже в ранних стихах Евгения Дубнова, в первой его книге «Рыжие монеты» (Goldfinch Press, London 1978) мы читаем небольшую «Поэму пути» (1968), которая начинается так:

Я ночами не спал, отдаленные шорохи слушая.
Я о встрече мечтал, как мечтает о мужестве юноша.
Я свидания ждал, как детей – одинокие матери.

И набросил вокзал мне на плечи морозную мантию.

И в том же сборнике – снова вокзал:

...

Куда уходят без меня,
Вокзал мой, все твои вагоны?

Дело не в предметных приметах пути, их может и не быть, как в стихотворении «Рыжие монеты», давшем название сборнику:

Ты сошла, с пути свернула,
Встала у окна,
За твоей спиной скользнула
Листьев желтизна.

Это рыжие монеты,
Брошенные мной,
Как залог возврата в Лету
Сохранило дно.

Здесь появляется мотив: жизнь как путь, как возвращение. И получает развитие в другом стихотворении той же книги:

И в новогодней непогоде,
Когда моя гортань суха

И жизнь проходит, жизнь проходит,
Не становясь стопой стиха...

(«31 декабря 1977 года»)

Как это знакомо любому подлинному поэту: проходящая мимо жизнь, и сомнение – стоит ли эта жизнь поэзии, или же поэзия важнее жизни?

Запах пыли в дожде и испуг от возможности смерти...

(«Зеленый лист на стебле»)

Но жизнь и смерть, поэзия и жизнь, смерть и поэзия – неразделимые понятия в том путешествии, странничестве, что есть поэзия и жизнь поэта.

Поговорим же, собственно, о стихах, о поэтике в поэзии Евгения Дубнова. Надо прежде всего отметить, что поэт рано, очень рано сумел прийти к тому, что называется собственным слогом в стихах, собственной интонацией и, главное, – словарем. Его поэтическая речь насыщена словами, многочисленными понятиями, образами окружающего мира. Это очень плотный текст, и читать эти стихи надо медленно и внимательно. Поэт, кажется, не пропускает ничего в этом мире, все замечает в своем странствовании.

Это очень зрелые стихи едва ли не с самых ранних – где иногда и попадаются неудачные строки, но довольно скоро уровень мастерства возрастает, и поэтическая интонация безошибочна.

Можно сравнить с поэтикой Осипа Мандельштама, хотя эта параллель, как и все параллели, достаточно условна. Но прочтем начало стихотворения, посвященного именно памяти Мандельштама:

Напряженным стремительным лѐтом,
Где светла и чиста синева,
Над высоким до слез небосводом
Догоняют друг друга слова.

В них элизии эллинской пенье
И латинских пиррихийев град,
Итальянских дифтонгов мученье
И французских сонорных игра.

(«Напряженным стремительным лѐтом...»)

Евгений Дубнов в этих стихах приближается к поэтике самого Мандельштама: тут и Эллада, и Рим, и то, что сам Мандельштам называл «тоской по мировой культуре», и главное – слова, догоняющие друга и перекликающиеся между собой. Но именно в этих стихах мы можем увидеть и параллель с Мандельштамом в стихах самого Дубнова, ведь все это присуще и его поэзии.

Но вот что еще замечаешь в течение всего этого поэтического пути: приметы окружающего мира появляются в изобилии, даже из пустоты, да перекликаются друг с другом, но поэт всегда сохраняет спокойствие наблюдателя, не да-

вая собственным страстям и оценкам выйти на первое место, не навязывая ничего читателю. Поэтому и в таком изобилии жизненных примет дышится легко, и все воспринимается естественно.

Даже когда это чудо – рождение жизни:

Вот то, что не существовало, вот
Небывшему приходит свой черед:
Из хаоса и тьмы, из пустоты
Живые появляются черты.

Смотри, скорей смотри, как из куска
Безликой глины чудо лепестка
Рождается, как вновь поэту Бог
Кивает...

(«Часть земли». Сонеты к Айлин)

На самом деле это очень сильный поэтический прием, если и не черта характера самого поэта: внутренняя сила взгляда, страсти – и внешнее спокойствие, которое только увеличивает эту силу. Вот он, поэт, путешественник, чуть ли не естествоиспытатель, может быть, пилигрим, как и подобает поэту, видит великое в малом, не забывая о «четырех ветрах», о просторе своего странничества:

Видишь, я стою на перекрестке,
И в моей ладони часть земли –

Праха незначительная горстка,
Что ростки корнями оплели.

Поклонившись на четыре ветра,
Я над следом лет не ворожу...

С большой осторожностью я бы здесь провел еще одну параллель: назвал бы, например, имя Николая Заболоцкого. Но скорей всего эта параллель будет ошибочна, в том смысле, что названный поэт на самом деле не оказал на поэзию Евгения Дубнова никакого влияния, и это всего лишь моя собственная ассоциация. Но, думаю, и она стоит внимания читателя.

Надо сказать, что со временем, на *поэтическом* пути, стихи Евгения Дубнова делались сдержаннее, приметы пути отбирались более скупой и становились поэтому значительнее, действеннее. Где бы поэт ни странствовал, ни присутствовал, пейзаж в его стихах никогда не был «общепринятым», «туристическим», но всегда личным и перекликающимся с прошлым, с жизнью поэта, с иными временами и местами. Вот «Парижский путеводитель», цикл из сорока стихотворений, в сущности, поэма – и ни одной банальности. Послушаем поэта:

В Париже я искал скамью, в России
увиденную много лет тому назад
во сне, – ее и вместе с ней следы

Мюрата...

Так с самого начала связываются времена и страны, явь и сон. А что можно увидеть в комнате, в квартире, может быть, давно оставленной? Оказывается, многое – из той же поэмы:

В пустой квартире ветер шелестит
газетами, растениями, цветами,
бумагами, рисунками детей,
захлопывает окна, двери, тут же
распахивает их, опять листает
тетрадь по языку, где ни одной
заглавной буквы нет...

Прогулка по Парижу продолжается, и вот:

Идя на зов флейтиста, мы с тобой
выходим в этот сад, где светлый ветер
волнует пряди мягкие волос.
Прекрасна жизнь, блажен, кто в летний сад
выходит из музея...

Отметим замечательный троп «светлый ветер», а еще вспомним строку другого поэта: «...И все-таки жизнь прекрасна» (Георгий Иванов). Жизнь прекрасна, хотя сам ритм белого стиха добавляет легкое ощущение грусти. И все же – блаженство не где-то там, за облаками, а здесь, в приметах обыденной жизни. Поэтому так же элегически звучит и на-

помянуть о расставании с Парижем:

По вечерам уже прохладно. Скоро мне уезжать обратно в Лондон. Там всего прекрасней осень, а в Париже весна...

Здесь важно отметить, что поэзия возникает в этих стихах не то чтобы из ничего, а из примет обыденной и именно поэтому прекрасной жизни. Ничего вычурного, навязчивого, но сама ткань стиха, его интонация заставляет нас дышать поэтическим воздухом.

Так путь – реальный, по городам и странам – становится странствием души, которая видит и чувствует многое в одно и то же время. Где бы то ни было.

В этом баре напротив светло и пустынно. Один
Или два посетителя в нем. Мы в пути.
Кто-то тронул орган в сотне метров каких-то от нас.
Слышишь: кто-то играет токкату в полуночный час...

(«Метрополь»)

А вот как начинается воспоминание о другой стране:

Страна снегов мне снилась, продолженье
Другой страны снегов...

(«Канадские строки»)

Все связано во времени и пространстве: люди, года, страны, слова...

Нет сожалений, лишь места и лица,
Чужие и свои, как на шоссе –
Дорожных знаков ряд, как вереницы
Метелиц и поземок. Речи все

Себе присвоит воздух. Выдыхай же
Слова на ветер. Высь, земля, гудрон,
Свет, горизонт, что отбегает дальше,
Язык, пространство четырех сторон.

(«За пределами»)

«Beyond the Boundaries» («За пределами») – так называется поэтический сборник Евгения Дубнова, изданный в Англии в 2017 году, с параллельным английским текстом в переводе Энн Стивенсон (совместно с автором). До этого, в 2013 году, был издан, также в Англии, двуязычный сборник Евгения Дубнова с тем же переводчиком: «The Thousand-Year Minutes» («Тысячелетние минуты»). Бесспорно, для Евгения Дубнова, у кого английский язык, как уже было отмечено, стал едва ли не вторым родным, такое двуязычие было очень важно.

Но нам здесь важно еще и другое: название сборника. Что оно означает? За пределами чего – пространства, времени, языка, может быть, жизни?

А дом пустой еще как будто полон.
Ты чувствуешь присутствие всех тех,

Кто навсегда отсутствует. Дружьями
Заполнен до отказа детский двор.
Язык не прекращает через время
В светящемся пространстве возводить
Мосты, чья мощь лишь с памятью сравнима.

Предыдущее стихотворение – одно из последних, оно написано в год смерти поэта. Предвидел ли он свой уход? – этого мы не узнаем. По слову Ахматовой: «Когда человек умирает, / Изменяются его портреты...». Но я думаю, что изменяются и стихи, когда умирает поэт. Особенно написанные перед уходом. Мы замечаем в них то, чего не заметили, может быть, раньше – при жизни поэта.

В этих строках есть все, к чему пришла поэзия Дубнова: ничего не пропадает, и даже слова, которые ты выдохнул на волю ветра, в пространство четырех сторон, все равно с тобой, в твоей памяти, которую поэт сравнивает с мостами. И тут есть ключевое слово: язык. Об этом стоит поговорить особо.

Язык поэта – это прежде всего сама поэзия, ее стиль, голос, строение. Нетрудно заметить, что поэзия Евгения Дубнова тяготеет к тому, что называется классической русской просодией. В этом определении мне всегда не нравилось слово «классическая» – и потому, что это слово неопределенно, под него можно подвести и XIX век русской поэзии, и XX, и потому, что его можно понять как нечто почти ушедшее, принадлежащее прошлому, несовременное. Конечно, это не

так, да в поэзии и нет понятия «современного», как есть в науке и технике. Но другого слова пока найти нельзя. Скажем так: поэт не пренебрегает размерами, рифмами, тропами, интонацией, всем богатством русской поэзии и русского языка. Даже белые стихи у него вполне в русле классической русской традиции.

Но вот что интересно. Евгений Дубнов прекрасно знал английский язык, долго сам жил в Англии. Едва ли не большинство его стихов переведены на английский, часть его сборников двуязычны – оригинал и перевод на смежных страницах. Вот вопрос: повлияла ли традиция английской поэзии – прошлой и современной, сам английский язык, на поэзию Евгения Дубнова? Наверно, этот вопрос требовал бы отдельного исследования. Я сам ответить на него не могу. Но могу все же сказать определенно: если английский язык и повлиял, то к вящей пользе поэзии Дубнова, и при этом его поэзия осталась в русле и лоне русской поэзии и русского языка, в этом нет сомнения. Иначе и быть не может, иначе она перестала бы быть поэзией. Мне очень близко высказывание Иосифа Бродского в его нобелевской лекции, что язык – инструмент поэта, а поэт – инструмент языка. Поэтому не все равно, на каком языке писать, – когда мы пишем на каком-либо языке, то пишем не одни: вместе с нами пишут те поколения, что говорили и писали на этом языке до нас, и даже те, что будут после нас.

В этой связи можно сказать и о свободном стихе – вер-

либре. У Дубнова есть и верлибры, но, к счастью, их немного. Почему к счастью? А потому, что верлибр имеет право на существование, только когда его пишет поэт, владеющий «классической» просодией, пишущий, не отказываясь от нее. Тогда он не теряет чувства языка, интонации, внутренней музыки поэтической речи. Верлибры Дубнова удачны именно по этой причине. К сожалению, в современной европейской поэзии, особенно именно в англоязычной, верлибр не просто господствует – он стал чуть ли не единственной формой поэзии и поэтому погубил ее. Вот почему меня заинтересовал вопрос о влиянии английской поэзии на творчество Дубнова.

Но, так или иначе, английский язык – это, бесспорно, еще один вид странствия поэта. К странствию мы и возвращаемся. Вернее – к чему, в конце концов, приходит странствие, не только поэта, но и поэзии, не только в пространстве, но и во времени, в том, что мы называем жизнью. Поэт сам отвечает на это:

Когда увидишь и оценишь взглядом
Свое лицо в окне зеркальном, дождь
Начнет идти как будто где-то рядом,
Как шарканье изношенных подошв.

Ты скажешь: сколько лет прошло и сколько
Дождей мосты омыло на пути –
И оттого глазам, быть может, больно,

Что жизнь прожить – не поле перейти.

Поэт верен себе: едва ли не случайные приметы жизни, приметы странствия – хотя бы шаркающий дождь – приводят его поэзию к давно известной пословице о жизни, но звучит она по-новому и с неожиданной горечью. Но поэт продолжает в другом стихотворении, где чувствуется, возможно, неожиданно и для самого поэта, конец странствия, его итог.

Вышедший в осенний сад из дома
Временного, чувствует, как боль
От того, что все вокруг знакомо,
Ширится, и поперек и вдоль

Пройденная жизнь уже отходит
Как бы за кулисы, и пред ней
В ярком свете сцены происходит
Действие, что зрителям видней.

Пройденная жизнь как прошедшее театральное действие? Можно и так – ведь поэт всегда прав, в каждом ежемгновенном случае прав, даже если в другом случае он и говорит иначе.

Да, в других строках он говорит иначе. Здесь мы подходим, может быть, к главному – к чему привел поэта этот путь. Это – тема Иерусалима. Евгений Дубнов много лет прожил

в Англии, и она не была для него чужой страной. Не была чужой и Европа, великая европейская культура, и не только как прошлое, была не чужой и европейская жизнь, Эстония, Латвия, Париж, Италия...

Но последние годы поэт жил в Иерусалиме, куда приехал еще в 1971 году, – стало быть, вернулся после странствия. Вернулся домой. Иерусалим стал для него последним и настоящим домом. Это мы ясно видим в стихах, где отразился этот город. В этих стихах нет ничего «туристического», чем грешат стихи многих поэтов, даже живущих в Израиле, не говоря уже о посещающих страну. Нет, Иерусалим, святой город, увиден поэтом в своей будничности, что не роняет святости города, а лишь подчеркивает ее.

На автобусной станции, в час заката,
Посреди порнографических журналов,
Посреди приволья проституток
И случайного привала хиппи...

...

Посреди молитв и богохульства,
Спешки, равнодушья, отчужденья
Пел старик слепой, брэнча чуть слышно
На кинноре с паутиной трещин.

...

Будто вопрошал о чем-то Бога...

Вот в этом реальном Иерусалиме, где есть и молитвы, и

богохульство, и суета, и равнодушие, в этом реальном, земном, современном городе и вопрошают Бога. Этот город и есть дом, даже – Дом. Здесь кончается странствие, и поэт приходит домой.

Покуда есть возможность приложить
Ко времени и месту наши лица,
Как фото к документу, не должно
Быть сожалений. Все слова уместны.

...

Я, Одиссей, умолк. Мое посланье
Последнее – язык морской волны...

(За пределами)

Одиссей здесь упомянут не случайно. Ведь этот герой древнегреческого эпоса сквозь все странствия возвращается домой.

Но Дом не означает ни отсутствия проблем, ни конца истории. Это место, где история своего народа происходит, – и в современности, и в давние времена. И с этими временами, с их героями поэт тоже накоротке, как со стариком, поющим на автобусной станции. Как со Страной Израиля, которая, какой бы ни была, его Дом.

В иступленных камнях Иудеи потрескался зной.
В Средиземное море упал, все различия стер...

(«Ты не встретишь меня...»)

Он шел в Египет. Бог настиг в пути...

(Хамсин)

Он так сказал: «Покоя я хочу.
Народа, Богом преданного, я ли
Предатель?..

(Иосиф Флавий)

И все-таки в конце жизни поэт (а поэзия Евгения Дубнова – это прежде всего философская поэзия) возвращается и к изначальному своему дому, оставшемуся в памяти, и, главное, – к Дому небесному.

Смотри же: нет ни улицы, ни дома,
Остался только этот самый стык
Земли и неба, заново знакомый,
К себе зовущий властно, как язык.

(«Там, справа, дом последний самый...»)

Поэт, многое видевший на своем пути, в конце концов ясно понимает, что его странничество – во времени, в пространстве – есть еще и странствие души, которая приходит к «милому пределу» – к Небу. Так ясно это видно в кратких, прозрачных, с горечью, строках поэта.

Поскользнувшись, как на льду, на листьях,

Мы с тобой сумеем удержать
Равновесье – лишь рябины кисти
Будут на сыром ветру дрожать.
Видно, время года нас тревожит,
В землях странствий мучит переход
От озноба троп к дорожной дрожи,
Горизонта жизни – в небосвод.

(«Под дождем плакучей ивы пряди...»)

Печально, что поэт Евгений Дубнов ушел от нас рано. Поэты – такие же люди, как все, они радуются, печалются, странствуют, болеют. И умирают, как все. Но поэзия, если это настоящий поэт, поэзия – живет.

Иерусалим, март 2020

Лея Гринберг-Дубнова. «Друг мой далекий, вспомни обо мне...»²

Но в жизни есть такая глубина,
Что разуму живущих недоступна,
Лишь иногда знать о себе она
Дает внезапно листьев дрожью крупной,

Нависшим небом, океаном сна,
Суровым ветром, о лицо истертым,
Полетом птиц... Есть в жизни глубина.
Ее понять дано, быть может, мертвым.

Быть может, только сейчас, когда он так далеко от нас, ему откроется тайна той глубины, которую он искал, суть подаренной жизни, красоты и боль которой он чувствовал.

Никогда я не была так близка к нему, моему брату, как сейчас. Я возвращаюсь к его стихам, написанным давно и совсем недавно, читаю и перечитываю их. Задумываюсь над его последними правками, порою спорю с ним и думаю, что нет, здесь должно было быть иначе. Порою строки вычеркнуты, а над ними другие и третьи. И я ищу и думаю вместе

² Цитата из стихотворения Евгения Дубнова «Смотри, как свечка оплывает...»
Статья была опубликована в сетевом журнале «Заметки по еврейской истории»
№ 5-6 (223) за май-июнь 2020 г.

с ним. Своей памятью он возвращает меня далеко назад, и я вижу его мальчиком.

Таллин, жизнь начиналась
округленно распахнутым удивленьем,
близким запахом моря.
И тогда, в летний вечер,
пятилетним ребенком
ты отправился на поиски его
и дошел до морской базы.
Там, ворота пройдя, ты картину смотрел
вместе с матросами,
рядом с самой водой...

Помню этот вечер и неутихающую тревогу всей семьи, и маленького нашего брата, которого неожиданно привели матросы. Он был очень уставшим, но свои впечатления от встречи с морем не мог забыть. Я видела, как моментами он возвращается к ним, и тогда лицо его становилось задумчивым, и он словно отъединялся от всех. В шесть лет он начал писать стихи. Но вдруг порвал все написанное. «Они плохие», – сказал он мне. И больше к этой теме не возвращался. Первое его стихотворение было опубликовано в «Пионерской правде», когда ему исполнилось пятнадцать лет. Спустя много лет в одном из стихотворений он воссоздал этот эпизод своего детства:

Провожать корабли ты пришел неизвестно куда
Без зонта и плаща.
Мальчик, худенький мальчик...

Море... Он искал его всегда, всю жизнь. Возвращался к нему постоянно.

Погребает гребни берег, весь в слезах,
Саван пены истлевает на глазах,
И опять приподнимается волна,
Чтобы выполниться мерою сполна,
Чтоб упасть и берег смертью напитать...
Я всегда мечтал о море написать –
О его непримиримости, о том,
Сколько волн и грозной жертвенности в нем.
Я на взморье мог без усталости смотреть,
Как серебряную солнечную сеть
На мельчайшие ячейки рвет прибой
Мускулистую упругую рукой.

Наше детство и юность связаны с морем. И память сближает нас, наши воспоминания. Читаю его стихи, и они словно возвращают меня к тому же берегу, к тем же прожитым мгновениям. И я, как и он, вспоминаю Таллин и Ригу, будто слышу обращенный ко мне вопрос: «А ты помнишь?»

Помню ли я?

Слово может разбудить память. Только надо его найти, это слово. «Бредил морем я, как школьным силачом, / Бредил

братом, dna коснувшимся в пути...»

Вот и все о трагедии семьи, внезапно потерявшей сына и брата, «dna коснувшимся в пути». Смерть старшего брата оставила в его памяти неизгладимый след.

«Искусство – это борьба человека со смертью, его попытка отстоять себя перед лицом собственной смерти. Так на протяжении многих лет я подходил к своему творчеству», – сказал он в одном интервью. В 1984 году вышла его вторая книга стихов «Небом и землею», посвященная памяти нашего покойного брата.

И я понимаю, как он был раним, как сильна была в нем память. Я словно проникаю в глубину его души. Прошлое жило в нем и с ним.

Но жизнь побеждала: красота ее, свет, окружающая его природа, музыка... Он навсегда оставался тем полным любопытства к жизни, чутким ко всему происходящему, каким был тогда, в свои пять лет, когда пришел провожать корабли. И спустя десятилетия я прочту эти строки:

Я скажу, от себя не таясь,
Что еще продолжается связь
С тем до слез непорочно-простым
Детским миром травы и листвы...

Он словно чувствует себя частицей мироздания:

Я сливаюсь с криком птиц и стоном

Сосен в их вершинах утомленных,
В их больших натруженных вершинах...

...

Я биением сердца бег оленей
Различаю в шорохах вселенной.
Я, к земле прикладывая ухо,
Слышу, как она вздыхает глухо.
Вот еще мгновенье – и я слышу
Бога...

Раздумья Евгения о жизни глубоки: «Человек должен делать усилие, чтобы ощутить своей душой следы божественного, воспринимать духовное».

Одно из его стихотворений начинается словами: «Дыханием дух был создан, речью – тело».

Тайна нашего существования в этом мире. Тайна жизни и смерти. Тайна времени: «Я стоял в саду и слушал время, / Что всходило от корней к листве».

Тайна рождения поэтического слова:

Каким должно быть слово,
И страстно и сурово,
Кипящими мазками,
Горящими смычками?

Упрощено и сложно,
Оправдано и ложно,
Земной оси основа,

Каким должно быть слово?

И вновь те же беспокойные раздумья о смысле жизни:

Вдоль степенных, достойных, медлительных рек, что
словно желают

Успокоить, напомнить, что ты – путешественник,
странник...

Рассказывая об одном своем путешествии, он вспомнил образ чайки. «Чайка в Талмуде – символ беспокойства духа при пересечении моря житейских невзгод.

А вообще тема путешествия – символическая в искусстве. Есть путешествия в пространстве, во времени, и есть путешествие духа».

Я спросила тогда: «Чем было для тебя это путешествие?» Он ответил: «Путешествием духа».

Мы говорили с ним о конкретном путешествии, но слова эти были глубже, он невольно сказал обо всей своей жизни. Неслучайно в одном из многих отзывов на его поэзию я нашла слова, которые меня особенно впечатлили: «Собственный, ни на кого не похожий голос... настоящее путешествие духа» (Генри Гиффорд, профессор Бристольского университета).

О чайках он написал первое стихотворение в 19 лет.

Этой ночью я думал о чайках,
Исчезающих в красном закате,
И слышал их хриплые крики.
Я думал о чайках,
Спящих безмятежно, как дети,
И видел их белые спины,
Когда они покачивались
На ленивых волнах.

...

Этой ночью я думал о Земле,
И слышал ее голоса,
И оставался наедине с ней...

Теперь я понимаю, почему образ чайки так любим им. Беспокойство духа пробудилось в нем слишком рано...

Ему было 17, когда он уехал учиться в Москву. Его, еврейского юношу, Латвия как своего представителя отправила учиться в Московский университет имени Ломоносова. Он был гордостью школы. Так однажды сказала мне его учительница. Но еще до отъезда он заинтересовался Библией, комментариями к ней, Талмудом, еврейской философией. Возвращаясь в прошлое, невольно вспоминаю родителей: отца-журналиста и маму, выросшую в религиозной хасидской семье. В духовном плане они были далеки друг от друга. И вновь поражаюсь силе ее характера, вспоминая, что в шестидесятих годах прошлого века брат прошел обряд бармицвы, еврейского совершеннолетия, и читал на иврите главу из

Библии, выпавшую на его тринадцатилетие. Смутно помню учителя иврита, очень пожилого человека, с которым иногда встречалась в дверях нашей коммунальной квартиры.

Во время бар-мицвы – она проходила в Рижской синагоге – мы, сестры, стояли на улице. Внутри, кроме родителей, были лишь те, кто не раз доказал свою верность тайно происходящему в этих стенах...

За разрешение на репатриацию мама боролась несколько лет. Когда она, казалось, чудом его получила, откладывать выезд было нельзя. Брат уезжал, не закончив университет и выбранный им факультет психологии. И хотя он мечтал об Израиле, расставание с привычным миром ему далось нелегко. Спустя годы он выразит свое чувство:

С кем все это было, как давно,
Небо, запах моря и трава,
Больно, возвращенья не дано,
Как опять кружится голова.

И тут же, будто споря с собой, возвращая себя к реальности: «Но зачем давно ушедший мир / Воскрешать, вытаскивать на свет?»

Мы расставались с ним в годы, когда человек ищет себя, свое призвание, а встретились спустя десятилетие. Об этом периоде я узнаю по старым вырезкам из газет и журналов. Что-то сохранилось в его архивах, что-то я находила сама и с помощью его друзей. Каждая такая встреча с ним слов-

но открывала какую-то страницу его жизни. Он был очень педантичен. Хранил открытки, фотографии, письма друзей. Самые первые свои рассказы и стихи. В небольших записных книжках – впечатления о встречах. Наброски рассказов. Летящие, будто догоняющие друг друга буквы.

Читаю и надолго возвращаюсь в прошлое. Вот снова он, хотя это герой короткого рассказа...

«...взморье это было ветренное и широкое». И в конце, подобно вздоху:

«Так проходят годы, и мы уже не чувствуем ветра, несущегося по взморью и сыплющего чистым песком, не можем пройти по удивительному пространству побережья рано утром; мы уже не видим моря».

Вот сбереженная им, пожелтевшая от времени аккуратная вырезка из газеты на иврите. «Молодой поэт из Риги Залман Дубнов в течение целого часа беседовал с Любавичским реббе о Зигмунде Фрейте и о свободе выбора в иудаизме».

На отдельном листке – наброски мыслей об этой встрече. И не раз в трудные моменты жизни брат обращался за советом к человеку, оставившему глубокий след в его душе. И всегда получал ответ. Воплощал ли он его советы в жизнь? Творческая, увлекающаяся натура, он часто шел за порывом своей души... Он был поэт, и это, а не логика жизни, вело его.

Трижды он был лауреатом премии президента Израиля Залмана Шазара. И дважды – Тель-Авивского фонда ис-

кусств и литературы. Об истории первой премии писали на иврите и на русском. Кто-то переслал Залману Шазару стихи молодого поэта Залмана (Евгения) Дубнова о Иерусалиме. Президент знал русский язык. Стихотворение глубоко взволновало его, особенно последние строки:

Нижнюю кромку одежды твоей теребя,
Ерусалим, я бы мог умереть за тебя...

Это было одним из первых его стихотворений о Иерусалиме, точными деталями он сумел передать древность города и чувства, которые он у него вызывает:

Ночь, ни души, только ветром разносится страх,
Ветер идет по мечетям, шуршит на коврах,
Роемся в царских могилах, приветствует прах,
Треплет, забывшись, траву в Гефсиманских садах.

Как непохожи и как светлы его стихи о Иерусалиме, написанные в последующие годы. Мой брат был влюблен в этот город и, подобно влюбленному, открывал в нем ему одному видимые черты.

Миндаль цвел всюду, почки набухали
Оливкового цвета, и ветвей
Рост быстрый новых шел, и плод скорей
Созреть старался, чтоб благословляли
Его на праздник...

Вот небольшое интервью в первых номерах журнала «Син-он», некогда популярного в Израиле. На фотографии брат через три года после репатриации. Совсем молод. Лицо освещает улыбка. Он рассказывает о себе. Печатался в «Гранях», «Русской мысли», «Новом русском слове», в журналах «Время и мы», «Современник», в израильской прессе на русском языке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.